

В темных религиозных лучах. Василий Васильевич Розанов

Случай в деревне

Сегодня — случай, вчера — случай; так уж выходит не случай, а — закон.

Из житейских разговоров

О «случае» этом было напечатано в газетах. Один «фанатик», размышляя о спасении души своей, сжег себя живым: он «из борисовских поселен Екатеринославского уезда, старик 51 года», Авксентий Данилов Бабенко... Вообразив себя великим грешником, Бабенко решил «искупить свои грехи жертвою и для этого решил предать самого себя сожжению». «Забравшись, — рассказывает далее хроникер, — к себе на двор, он вкопал в землю большой столб, обложил его со всех сторон сухим хворостом и соломой, а затем привязал себя к этому столбу и зажег свободною рукою хворост. Огонь запылал, и через несколько минут яркое пламя охватило этот жертвенник, на котором корчился в судорогах несчастный. Семейство Бабенко, заметив огонь, выбежало на двор, но было уже поздно. Вербки, которыми был обвязан безумный, перегорели, а сам он, весь обгорелый, с обуглившимися ногами, лежал и жарился в догорающем хворосте. Тотчас же была извещена полиция. Бабенко был отвезен в больницу, где и скончался в ужасных мучениях». На вопросы о причине, побудившей его на этот ужасный поступок, он «прошептал, что хотел искупить свои большие грехи». Больше он не мог говорить. «Бабенко страдал, очевидно, помешательством на религиозной почве и, как почти всегда у нас в провинции, оставался на полной свободе».

Это — мнение и освещение хроникера: «нам некогда! дальше!» Но можно задуматься, позволительно задуматься вслед «хронике» и дальше. Ведь писали же чуть не год о «Мультиановском жертвоприношении» у вотяков, и не находили ни неуместным, ни несвоевременным. А тут русское дело и русская кровь.

Я люблю собирать «случаи» из жизни, и кой-кто из моих добрых друзей, зная мою страсть к коллекционированию «раритетов», прислал года два тому назад вырезку из одной казанской газеты. В вырезке говорилось об одном, на этот раз образованном, молодом человеке, который, «вдаввшись в религиозные размышления, заснул однажды — и вот в сонном видении ему явился Иисус Христос». Объятый необыкновенным восторгом, пламенный юноша — все во сне — спросил: «Господи, что мог бы я отдать тебе?» — «Отдай очи», — ответил Христос. Видение исчезло. Юноша проснулся. Он затеплил лампаду и наставил глаз на огонь. Глаз вытек. Юноша был найден окровавленный, но живой — и рассказал то, что он видел и как поступил.

...Единичное и личное заблуждение? Но вот нечто из психологии толпы. «Одесский Окружной суд препроводил в Одесскую духовную семинарию через духовную консисторию вещественные доказательства и документы, найденные при раскопках в терновских плавнях, где, как известно, несколько фанатических раскольников были заживо погребены Федором Ковалевым и его участницею, инокиней Виталией. Между этими вещественными доказательствами обращает на себя особенное внимание бездна металлических раскольниковых икон с изображением Иисуса Христа, Божией Матери и Святых. Есть также пятирусный складной иконостас, несколько камилавок, мантий и очень много старопечатных книг, как, напр., Пролог, Жития святых, Потребник, Псалтирь с воследованием, Уложение царя Алексея Михайловича, много рукописных тетрадок духовного содержания, железные вериги и проч.». Нужно заметить, что все эти «старопечатные книги» стали «старопечатными» всего двести лет и были «новопечатными», новенькими и действительными — шестьсот лет: т. е. в данной «психологии толпы» мы имеем как бы воскресший или, пожалуй, не окончательно замерший дух шестисотлетнего существования, который покрыт сравнительно тоненькой пленкой двухстолетних «новшеств». Покрывает его, но под нею не умер. У меня лежат на столе три тома превосходного издания: «Русские древности в памятниках искусства», издаваемые гр. И. И. Толстым и Н. П. Кондаковым. И вот, редкий день нет-нет я и разверну страницу 135 выпуска 6-го («Памятники Владимира, Новгорода и Пскова»), где на фигуре 159 представлены фрески Спасо-Нередицкой церкви, построенной Ярославом Мудрым и тогда же расписанной, а в настоящее время не посещаемой и заколоченной за ветхостью. Фрески изображают четыре фигуры и лица: Свв. Григория, Василия, Иеваноса, — четвертое лицо в книге не названо, я же сам не в силах разобрать около него надпись имени. Я не живописец. Историей и археологией не занимаюсь. Я — романист в сердце и чуть-чуть психолог. Что же меня все возвращает и возвращает к древней живописи? Такого беспросветного мрака, невыразимой скорби, такой бесконечной силы осуждения... миру, себе — я не читал ни в поэмах, ни в сатирах, ни у еврейских пророков, как на этих фресках! Ювенал, Тацит — сущие мальчишки перед этими. Они — тщеславные мальчишки, судившие мир и довольные собою, несколько напоминающие Чацкого. Дант... но и Дант, очевидно, считал себя правым, себя и свою Беатриче, «святую Беатриче». У этих четырех фигур нет прощенных, и глубь скорби, прежде всего, пала в их сердце, в собственное «я». — «Все будем гореть, но я первый». Это — паника. Паника заразительна, паника — мистицизм. Все испуганы и все бежим. Чего? кого? Напрасный вопрос, напрасна надежда услышать ответ. Но от этих четырех фресок есть бесспорная и непрерывная нить как до фанатиков, закопавшихся в Азовских плавнях, так и до казанского юноши.

Вы скажете — «случай живописи»... Ну, послушайте: «случай» да «случай», но почему же мне вас, возражающего, принять не за «случай», и, напротив, тех — за закон, но которого вы, как случайное исключение, просто не понимаете? Есть Захарьин и есть лекари, лекаришки; конечно, лекаришек много, а Захарьин — один на много лет, и на целый век 5—6 Захарьиных. Однако, очевидно, наука медицины воплощается в шести вековых «Захарьиных», а вовсе не в 60 тысячах ежегодных докторишек. В этих фресках, в том казанском юноше, в приазовских староверах выразились, во всяком случае, некоторые специалисты, которые без рассеяния думали о том самом, о чем и мы думаем, но рассеянно, занятые литературой, политикой и проч. У нас — плевелы; мы — дорога, на которую пало зерно и расклевано птицами: тогда как душа тех есть, очевидно, тучная, рыхлая земля, и мы качество зерна собственно и можем наблюдать только на той рыхлой почве, «специальной, уготованной». Знаем ли мы христианство? понимаем ли его? Вот к чему я хочу свести эти наблюдения.

Несколько времени тому назад вышла, в течение одного года четвертым изданием, книжка священника Петрова «Евангелие как основа жизни». Ее первое издание произвело на меня впечатление, и я написал по ее поводу статью «Религия как свет и радость». Статья кой-кому понравилась, кой-кому не понравилась. Между письмами, мною полученными по поводу ее, было одно замечательное из Рязани, от человека, очень углубленного и очень страдающего, которого я никогда не видел и знаю только из переписки. «Религия света и радости... вы — отрекаетесь от христианства, вы — не знаете христианства», вот общий смысл его пространного и убедительного письма[1 - Ниже, в отделе «Купол (христианского) храма», я печатаю это письмо, выразившее очень удачно те мотивы, по которым было принято христианство и силою которых оно спело свою «победную песню»...]. Нужно заметить, что написать статью у меня был один личный и вместе теоретический интерес. Он — следующий. Я давно заинтересован, от какого собственно «сатаны» должен отречься младенец при крещении? то есть меня берет сомнение не о бытии сатаны, а о том, куда мы должны относить «сатанинское лицо» в эту минуту, — вопрос не только не разъясненный, но, кажется, никогда и не поднимавшийся.

Между тем для всякого христианина более чем понятна необходимость знать конкретно и определенно местопребывание главного и даже единственного врага своего, чтобы знать, где, и с кем, и как бороться. Мы знаем «сатану» слишком обще как «грех» и «искушение»: но в данную минуту, то есть при крещении новорожденного, сатана так конкретно называется, что это есть единственный пункт, с которого мы можем начать конкретные, а не обобщенные и, следовательно, неопределенные его поиски. О вопросе этом я многих спрашивал, и вот, один уже престарелый и многоопытный человек[2 - Покойный Серг. Ал. Рачинский, известный деятель по церковно-народному образованию, — переведший в молодые годы Дарвина и Шлейдена.], духовного образования, ответил мне: «Младенец отрекается от первородного греха». Сейчас я ему не нашелся что сказать, но назавтра сказал, что первородный грех снят с человека крестною смертью Спасителя и что в этом весь смысл христианства, о котором мы забыли вчера, беседуя с ним. Мы, конечно, — «докторишки», а не Захарьины, и оттого могли забыть такую вещь. Но что, во всяком случае, в данную минуту и в данном таинстве называется «сатаною» не первородный грех, а что-то другое — об этом не могло быть спора после моего указания; и, придравшись к книжке священника Петрова, я написал статью с несколько специальной целью доказать, что вот уже 1900 лет как первородного греха не существует, и, следовательно, — что особенно мне нужно было в моих целях — младенец отрекается при крещении, с именем «сатанинским», не от согрешения Адама и Евы, а от чего-то другого.

«Прости, небо, прости, земля, прости, солнце, прости, луна, простите, звезды, простите, озера, реки и горы, простите, все стихии небесные и земные...», — так «прощаются», разлучаются с светлым миром неопиты скопчества, вновь приведенные к этому учению послушники, перед тем как подвергнуться известной операции. «Прощание» это происходит в торжественном собрании скопческого «корабля», и выслушивают его те, которые уже «простились» с солнцем, луной, землей и всеми стихиями через потерю собственно одних детородных удов. Какая глубина сознания их значения: с ними расстаться — со всем миром расстаться! от них отделиться — от всего мира отделиться! Здесь, кажется, только одного шага недостает, чтобы эти же самые скопцы, т. е. тогда же уже «бывшие» скопцы, воскликнули «осанна!» в сторону этих «удов», которые, по их же сознанию, трансцендентно несут в себе солнце, луну и звезды, землю и небо и все стихии Космоса... Но пока что, до этого недостающего шага, какой пессимизм в этом «прощании»!.. О, что Шопенгауэр! Как и Ювенал с Тацитом, он со своим пессимизмом опять же есть мальчишка и щенок перед этим мировым прощанием наших сектантов-скопцов и хлыстов. «Прощай, мать сыра-земля! прощай — мир». Да, русские мужики глубоко плавают, и, во всяком случае, в вере они суть или нередко бывают Захарьины. Но я здесь не о них говорю, а о том, что новооскопляемый, отрекаясь от мира, восклицает нечто сливающееся с отречением и всякого младенца при крещении. Когда уже оскопление окончилось, то из старичков кто-нибудь, подняв с полу отрезанный детородный орган и показывая его «счастливому» новооскопленному члену, говорит: «Вот — жало сатаны: ты вырвал его из себя». По всем этим подробностям совершенно очевидно, что в таинстве крещения проведена великая (по объему и значительности, не по святости) мысль скопчества; что как и скопческий «корабль», церковь не ранее принимает в свое лоно младенца, чем он или от его имени «восприемники от купели» произнесет некоторое «прощание» же с «солнцем, луною и всеми стихиями земными» через отречение детородных удов, но только не своих, а родительских, от которых он физиологически произошел. В самом деле, Символ веры над крещаемым и произносится сейчас вслед за тем, как он «отрекся от Сатаны». Родители при крещении своего младенца не могут присутствовать, они одни не могут: знакомые, друзья, соседи — присутствуют. Сами акты, введенные в обряд крещения, эти акты отвращения от чего-то зрительно гадкого и мерзкого («дуни!» и «плюни!» в троекратном повторении) указывают на мысль или воображение Церкви, обращенные в эту минуту к чему-то гадкому по всеобщему ощущению. Это — тот акт совокупления родителей младенца, через который он был зачат. «Ты больше не будешь рождать», — говорят скопцы вновь принимаемому; «плюнь и отрекись от своего рождения», «от твоих родителей», — говорит Церковь вновь крещаемому. В обоих случаях: «рождение — от Сатаны: ибо его нет без похоти, а похоть — от Сатаны». «Лицо Дявола» становится совершенно ясно, читаемо для нас в церковном учении: это — вся деторождающая система, весь очерк детородных сил, качеств, форм, движений, органов, пожеланий, вожелений». «Область дьявола» — ниже пояса, как «область духа», «Бога» — выше его. Вот разделение, метафизика, космология христианства. Отсюда — монашество как идеал христианский; и напротив — семья, родители, братья и сестры, супружеская спальня и детская комнатка, игры ребенка и песня матери над дитятею, труд отца для прокормления детей и, наконец, эти «грешные животные», которые только едят и множатся, — все, все это есть «область Сатаны», чертеж дьявола, узор его возле человека, только, по-видимому, сладкий и прекрасный, ибо он предназначен уловлять падшего человека в свои петли.

Не пытаюсь спорить с Церковью, я спрошу только: каким образом она же, эта самая Церковь, в другом своем «таинстве» или якобы таинстве, браке, этот «сатанинский» акт соития именуется уже «святым соединением» и «благословляет» на него молодых людей?!! К чему это? что это? Где правда и истинное ее учение? Где настоящий ее взгляд на область ниже пояса, в крещении ли, где все это проклиняется («дунь и плюнь») как сатанинское дело, или в браке, где все это благословляется как «исполнение Заповеди Божией».

Несомненно, что крещение есть более основное таинство христианства, — таинство новое, «новозаветное». А как Заповедь Божия, припоминаемая в венчании, тоже несомненна — то совершенно бесспорно, что во внутреннем своем сознании Церковь именуется «Сатанинским» Божеское лицо и указывает на Бога как на главного врага своего, от которого и предостерегает человека («не множься», монашество).

Все это, в своей невыразимой путанице, в которой запуталась Новозаветная Церковь, противопоставив себя Ветхозаветной Церкви,

содержит в себе для «верующих» такие глубины скорби, печали, уныния, что... что фрески новгородской церкви, поступок казанского юноши, приазовские староверы получают для себя фундамент.

Вот о чем священник Петров мог бы написать новую любопытную книжку. Он преподаватель богословия в высшем учебном заведении, ему и «книги в руки». Мне кажется, и я для этого и пишу настоящую статью, что все мы, занимаясь религиозными вопросам и сочиняя религиозные книжки и религиозные статейки, — «мелко плаваем», и даже попросту — занимаемся пустяками. Уж если мы не знаем, есть ли христианство мировой пессимизм или мировой оптимизм, если возможен о такой основной вещи спор, то, конечно, — мы ничего не знаем в нем, не знаем его основного смысла; а без этого, конечно, не знаем вовсе и «пути спасения». Но если мы не знаем, профессора, писатели, то что же нам спрашивать и за что судить и осуждать... хотя бы приазовских староверов. Мы их не научили; но это — с полбеды: мы их не можем научить, мы сами не знаем, и не знают богословы, наставники, как свящ Петров, — и вот это есть или тут начинается полная беда.

Но неужели же священник Петров так-таки ничего не знает в христианстве? Скажем ему в оправдание: не один — он. Много лет назад я прочел необыкновенно увлекшую меня книжку: «Катакомбы» Евгении Тур. И вот, я помню в этих «Катакомбах» разговор знатной, изнеженной и жестокой римлянки с ее невольницей, тайной христианкой, которая почти «для примера» набрасывает ей очерки евангельского учения. Римлянка причинила рабыне какую-то боль, кажется, бросила в нее кинжалом и ранила, а та не рассердилась. Римлянка спрашивает, почему она не рассердилась? — «Потому что я верую в Иисуса». — «Чему же учил Он?» — «Любить врагов своих». — «Любить врагов?» ...и римлянка задумалась. — «Да, это есть истинно новое и непонятное; любить друзей — да; любить родителей — да; любить безразличных, незнакомых — ну, так и этак; но врагов любить — непонятно, невозможно, неслыханно!..» Новизна и высота учения поразила и привлекла ее. Она стала христианкой, перейдя в полноту любви из мелкой языческой любви, в высоту веры из несовершенной веры, в сверхъестественную религию из естественной. Ставим точку. Ошибалась ли Евг. Тур, рисуя себе так в перспективе перелом от язычества к христианству? Если и ошибалась, то мы все с нею ошибаемся. Мы все так думаем, и нам, как и свящ. Петрову, всем представляется христианство именно как высшая любовь, «свет и радость», но иначе. Свящ. Петров привычную рукою начертил привычный образ; его книжка получает огромный успех; местами, в повременных изданиях, она почти целиком перепечатывается, потому что он с нами, и за него — мы все. Мы так думали 1900 лет; мы... «докторишки». — «Прощайте, звезды», «прощай — земля»; «прощайте, стихии небесные и земные», «отрекись от сатаны». — Уж если «жало сатаны» и «родительство» — одно и то же, то какой же свет? любовь? радость? — «О, хоть бы умереть!»

Кто же ошибается? Не ошибаются покойники. Есть мнение, что «никто не приходил с того света и не приносил нам по-ту-светной истины». Нет — есть вестники, есть по-ту-светные вести. Разве мощи не говорят? По крайней мере — нечто, и именно ровно столько, сколько нам нужно узнать. Они почилы и благоухают. Они святы и творят чудеса. Вот уж кому не причастно «жало сатаны», и, выйдя из круга рождений — они стали святы. Есть в них душа? Этого никто не утверждает. Есть в них жизнь? Думают это еще менее. Что же в них есть? Память, останки. Никто не сомневается, что мощи есть собственно тело, телесные останки, без всякой решительно душевности, духовности: и вот, безжизненные останки — они святы. Так вот, что значит «святость» — умереть! Да, Тур, очевидно, ничего не понимала, как, впрочем, и весь мир, мы все, свящ. Петров. Умереть — и значит достигнуть святости. А что это не эпизод, не частность религии, видно из молитв над умирающим и об умершем. Уже взрослым я видел одно соборование умирающего (кстати — оправившегося): я не мог не плакать, такое это чудо слов, живопись напевов! Тянул дьячок, подтягивал священник, и, однако, нельзя было не плакать. Кто изобретал эти напевы? Клянусь, я ни от какой музыки не заплачу и ни, от какого певца, — но тут какие-то по-ту-светные зóвы музыки, откровение напевов. Похоронные слова и звуки мы знаем же.

Так вот суть, выпавшая вовсе из памяти свящ. Петрова и Евг. Тур. Похороны — св. мощи в музыке, начало мощей, святость и святое воспевание смерти! Под таким углом зрения христианство есть мистическая песнь переходу из земного жития, всегда и непременно грешного, в «вечную жизнь» — там. Хорошая религия? Конечно, — но не отрицайте же, что это есть величайший пессимизм и глубочайшее отрицание земли и земного, стихий планетных, лунных, солнечных, но в основе всего — родительских, рождающих. Перед мистицизмом похорон что значит «Исайя — ликуй!» или «жена да боится своего мужа», наиболее музыкальные и выразительные места венчания? Вот уж рационализм, вот краткословие и грубословие, т. е. не в смысле, а в музыке. Музыкант, с такой дивною прилежностью сложивший напевы: «иде же несть печаль и воздыхание, но жизнь бесконечная», отмахнулся от брачующихся: «Э — пусть вам диакон проорет: жена да боится своего мужа». Очевидно — религия там, в могиле; здесь же, где начинается, где будет, через детей и рождение, убегание от могилы, — есть только впадение в грех, вступление в океан «жала сатанинского». Сатана — жизнь; Бог — смерть.

Но тогда за что же мы судим приазовских староверов? Святые — они; мы, их судящие, — грешники. Трижды и трижды свящ. Петров ничего не понимает в христианстве, и мы все, Евг. Тур, никто. Обратимся к Евангелию. — «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные — и Аз успокою вас». Тогда, с точки зрения смерти, тут есть: «умрите — и вы успокоитесь». Но ведь мы всегда читали эти слова в том смысле, что «облегчение» и «успокоение» будет дано еще в этой жизни; и значит — просто мы не умеем читать Евангелие, догадываться о настоящем смысле слов Спасителя. Да и действительно, если обратить внимание на судьбу «труждающихся» и «обремененных» в христианском мире, то ведь в чем же, собственно, выразилось «успокоение» их? В исповедании? Но они не столько были грешны, сколько несчастны, задавлены; и, действительно, для задавленности их какое же, где и когда находилось в нашей цивилизации «успокоение»? Никакого и никогда. Просто нет для этого средств, способов, методов, и например, нет даже в Церкви. — «Я обременен и скорблю». — «Покаяться хотите?» — «Да нет, я обременен детьми и нуждой». — «Бог подаст». Таким образом, очевидно, «успокоение» значит именно смерть, выход из круга рождений; но ведь, внимая словам этим, рыдая им ответно, «обремененные и труждающиеся» именно думали, что тут — скорбь о них и за них, готовность помочь, сделать, облегчить их сейчас, здесь, в сем виде тленном, а не то чтобы «на том свете», а пока вот — «умереть». Qui pro quo[3 - Этот вместо того; один вместо другого; смешение понятий, путаница (лат.)]....

Тезей условился со своим отцом, Эгеем, что если он победит на Крите Минотавра и останется жив, то, возвращаясь, вывесит на корабле белый флаг. Отец, уже старец, все выходил на берег моря и смотрел вдаль. Но на радостях победы Тезей забыл сделать перемену, и когда подплыл к берегу Аттики, то старец увидел на знакомом государственном корабле обычный черный флаг — траур по жертвам, отправленным в лабиринт. С нами случилось нечто обратное. Там было избавление — но остался флаг смерти; у христиан, напротив, в очах брезжит что-то бесконечно счастливое, небесно-примиряющее, окончательное, самое светлое, от чего дух занимается: но на самом деле — это только издали так, на первый взгляд, а диагноз Захарьиных, углубление специалистов, почва без плевел и расклеивающих зерно птиц — констатирует гроб. Просто — гроб. Кто же ошибается? Ведь, право, можно закричать, а не только написать «кто ошибается», и отчего мы все ничего не знаем в том, что нам важнее всего и первее всего нужно знать? И что за колпаки, которые учительствовали над нами до сих пор! «Любовь», «примирение с Богом», «снятие первородного греха», «религия как свет и радость». Христианство смотрит на жизнь как на бесконечную непоборимую скорбь и непрерывный неодолимый грех. Что может быть печальнее? — Ничего. — Что такое жизнь? — Плач и рыдание и ничего более. — Нужно ли трудиться? — Да, сколько птицам небесным: сегодня сыты, завтра сыты, а послезавтра — умрем. Здесь опять «взгляните на птицы небесные, на лилии полевые» обозначает просто, что «вы скоростижны к смерти и вот умрете, как птицы и цветы-поденки», так что нечего и «печься на утре», а не то чтобы там «попорхать» и «расцвести». Ничего подобного. Плакучая ива — вот подобие и образец для человека. Опустит ветви свои в воду и — плачь, плачь...

Но, повторяю, тогда для чего же белый флаг? Можно с ума сойти от недоразумения. Я могу не иметь совершенной правды в поступках своих, в отношениях к людям: но не иметь совершенной правды в святая святых своей души? Это было бы ужасно!

Но может быть, это ошибка веков и только односторонность развития Церкви? Не думаю. Ведь и «века» ошиблись же почему-нибудь и «преткнулись» ногою о какой-нибудь действительно лежавший на пути их «камень». Без «камня» не бывает «претыкания». Проходя по залам Эрмитажа, в отделах живописи XV—XVI веков, я был поражен чрезвычайно множеством и чрезвычайною красотой картин на тему, которую можно было бы объединить в названии: «Младенчество Иисуса Христа». Вот — «Бегство в Египет» и его варианты; вот встреча Елизаветы и св. Девы; и «Св. Семейство» без конца, т. е. в бесконечных повторениях. Тут все так чудно: Младенец, Мать. Так необходим этот старец Иосиф, о! бесконечно необходим: ведь старость равно прекрасна и равно тождественна младенчеству, ведь это возврат человека в младенчество, но в младенчество какое-то умудренное. Старец — дитя же, но в по-ту-стороннем обращении, как дитя есть старец в посюстороннем обращении. Мне думается, что, умерев, мы выпархиваем в «будущую жизнь» малютками, и признаки старости, белые седины, уменьшение объема тела, даже беззубость, суть именно приближение к младенчеству, к выпархиванию «туда». Мы «туда» рождаемся, и рождение «туда» есть смерть, которая для родных умирающего представляется чем-то болезненным и страшным, как и корчи рождающей женщины, как сокращения ее утробы. Это моя фантазия, не имеющая никаких, впрочем, оснований. Бросим ее, и обратимся к живописи в Эрмитаже. Как хороши эти «Волхвы с Востока»: они необходимы, как и Иосиф, ибо Восток вечно и весь ожидал Спасителя. «Звезда», ведущая их, местами перенесена на чело Богородицы или в «корону» ее. Но ведь что же такое все это, как не могучая иллюзия «ивы», которая хочет поднять плачущие ветви от воды, и на два века, XV и XVI, сумела это сделать? Где это живописцы прочли о «короне» у Матери? Не в Евангелии! Увы, они так мало «читали» его, что Спаситель (что, кажется, никем еще не замечено) везде представлен на этих картинах не обрезанным, т. е. они просто не вспомнили, забыли, у них выпал из памяти праздник «обрезания Господня», седьмой день после Рождества Христова. Что же они, бедные, рисовали? Просто — материнство и младенчество, но окоронованное, в звездах, в прославлении «волхвов восточных», Сил Небесных, поющих чудесными гласами, и опять столь необходимых пастухов и их стад: т. е., в сущности, в окружении тех «стихий небесных и земных», от которых отрекаются наши сектанты! Художники Renaissance'a не вспомнили об «обрезании Господнем», а сектант — все помнит, он — бесконечно внимателен. В смысле «начитанности в книгах», уж конечно, это он — Захарьин, а те живописцы были так себе, жалкие дилетанты. Знаете ли вы, что буря Лютера и особенно Кальвина, так замаявшая и изорвавшая «паруса» Renaissance'a, была, в сущности, чуть-чуть скопческая же, т. е. по сути-то своей, по главной-то своей основе. «Простите, стихии земные», или что то же: «Dies irae, dies illa — veniet». Нужно читать подробности биографии Лютера, чтобы видеть, до чего, подобно нашим «ищущим пути спасения» сектантам, он исхудал, истомился, был на краю отчаяния, и его вывел на путь «веры», в «веру без добрых дел» — просто разговор с престарелым августинским монахом. — «Да что ты мучишься, Мартин! Ну, наши подвиги ничтожны, грехи — не искупимы: но кровь-то, кровь-то Спасителя, ведь ее одной капли достаточно, чтобы очистить от греха мир». И Мартин воскрес: он уперся лбом или, точнее, подобно ласточке в душевной комнате, он вырвался в форточку этих удачно сказанных, но совершенно случайных слов и полетел в бесконечность. Но мы не пишем его истории, а указываем на простой факт, что, едва этот реформатор стал прилежнее читать «книги», как смел все эти «Святые Семейства» и «Бегства Иосифа и Марии в Египет» и «Святые ночи» Корреджию в сторону, как красочную мазню, которая никакого отношения к «спасению души» не имеет. Между тем, если мы войдем к самому благочестивому человеку, ну — войдем к столь любящему живопись С. А. Рачинскому в кабинет, — он покажет нам чудные снимки с картин Рафаэля, Корреджию, Леонардо, Мурильо, всех их заноса в «хор певчих Святой Церкви», всех их объясняя в силе и красоте из «религиозного вдохновения», — и вот, судя по сюжетам — очевидно именно из вдохновения христианством. Опять — белый флаг и черный гроб: ибо кто же «вдохновлялся христианством», художники ли эти, едва заглядывавшие в Евангелие, или Кальвин, Лютер или Савонарола, считавшие всю эту живопись «жалом сатанинским», «обольщением дьявола», совершенно аналогично скопцам, возгласившим борьбу против «лепоты мира», т. е. против красоты, изящества, против праздничных одежд мира? Рачинский был бы чрезвычайно поражен мыслью, что он совершенно не понимает христианства, но что делать — именно так. Ф. И. Буслаев нам читал в Московском университете о староцерковной словесности и параллельно как ее разъяснение — о византийской живописи. Из слов его точно помню указание, что между прилепленностью человеческого воображения к Божией Матери и к Иисусу Христу всегда шла борьба, и именно в том смысле, что человек искал утешения, облегчения, хоть какого-нибудь света в Божией Матери. Кстати, не отсюда ли столь любимые у нас наименования икон: «Скорбящая», «Всех скорбящих — Радости» и проч., тоже «Заступница». Буслаев прямо указывал, что в Божией Матери человек искал защиты, своего рода исторического «заступи и помилуй» от всегда пугавшего строгостью и суровостью Лица Спаса. И вот, — договаривал нам профессор, — в наиболее строгие эпохи истории Лик Божией Матери отступал, а на первое место почти испуганного воображения выступал Иисус Христос, — и тут-то он и говорил о его византийских изображениях. Все знают, что немного лет назад картину Ге, изображавшую «неблагообразно» распятие Спасителя, запретили показывать в Петербурге, но многие ли знают, что в строжайшие византийские эпохи было именно запрещено, как бесстыдство, изображать Иисуса Христа благообразным, и Он рисовался трупным, опухшим, искровавленным, иногда посиневшим, и непременно, непременно безобразным! Так нам читал Буслаев. Теперь я с этим прямо соединяю чтение «Двенадцати Евангелий» в Великий четверток: вот — торжество и мысль христианства! Выслушав эти «Двенадцать

Евангелий», не пойдешь в Эрмитаж. Просто — не захочешь, сам не захочешь. Прав Лютер; не правы мы. Правы Ге и византилисты, и вовсе, вовсе не правы Рафаэль и Корреджио! Чтобы решить спор, кто прав, и в свете ли и сиянии мы, или в темноте и плаче, то есть решить в сущности тысячелетний спор и всеобщее недоумение, мне приходила такая мысль. Взять бесконечный лист бумаги, вроде той ленты, на которой отпечатывается 50 000 экземпляров газетного листа. Но пусть бумага эта будет разлинована в мельчайшие квадратики, каждый в букву величиной. На эту ленту наносим Евангелие по букве в квадратике. Теперь, обведя красной чертой события определенного цикла, мы получим, так сказать, относительность темных и светлых мест, плачущих и радующихся. Едва мы это сделаем, как почувствуем, до чего безосновательно было Renaissance и верно — византийство, Лютер и, наконец, будто бы «фанатизм» и «темнота» наших сектантов разных наименований. Конечно, никакого «культа Мадонны» не существует в Евангелии, т. е. он существует только в человеческом воображении и родился из человеческого воображения; и вообще «богородичность», «богородичная» сторона христианства — один штрих, страница, десять минут чтения, а «страсти Господни» — это долгое, долгое «стояние»... Помните ли вы часы у Каиафы? у первосвященника Анны? перед Пилатом? Какие томления! Шипы, тернии, удары тростью! Отречение Петра, сон учеников, этот ужасный сон, в такой роковой час, «прощальный»... Предательство Иуды... И, наконец, — «разодралась завеса Храма и потряслась земля». Ужасно. Ужасно во впечатлении! О, какие тут «Мадонны». Христианство — ужасно во впечатлении, рыдательно. — «Крепитесь: Я победил мир». Какая-то ужасная, от нас скрытая (и сущности, в смысле) борьба. — «Ныне — суд Князю мира сего». Кто он, сей «Князь»? Темно. Все темно; хотя действительно через «младенца» побеждается смерть, и колыбелью отменяется гроб: а мы уже видели, и таково заключение компетентнейших судей, что гроб есть существенный груз нашего корабля и существенный смысл нашего исторического плаванья. «Побеждено» ли Иисусом рождение, его инстинкты и сила, словом, — весь круг вхождения человека в мир? До некоторой степени, не окончательно — но действительно «побеждены»: и тогда хоть сколько-нибудь становится ясна беспросветная тайна «смерти Бога», «гроба Господня»... Господь — в гробу! Какая ужасная тайна! Господь смотрит на человека из гроба! Какая тайна, как бесчувствен читатель, если он не содрогается. Как постижимы тогда «св. мощи», которые ведь все «во след Господу» благоухают из гроба и манят нас к гробу же. Вот где родник аскетизма, вот где истинный его родник, а не в словах: «лучше не жениться»; родник — в этой огромно раздвинутой, разрисованной, убранной концепции «страстей Господних». Ибо может ли прийти на мысль хоть что-нибудь из «женитьбы» у человека, выстоявшего «12 Евангелий» в Великий четверг, или у простоявшего час у мощей св. Феодосия в Киеве? Ничего подобного! «Господь в гробу» — какая же мысль о браке? И вот где не только родник аскетизма, но и, в сущности, какого-то искусственного положения брака в христианстве, которое все чувствуют, начинают чувствовать. Какой тут «брак» сквозь рыдания, цветы по трауру: это — розы на плакучей иве. Конечно, это — прибавка, примечание под страницей, приписка сбоку, а не текст сплошь читаемой и связанной страницы. Романтическая страница, минута из жизни Ромео и Юлии — просто здесь не связуема и не вписуема; даже в чтении она едва выслушивается: и между тем это — земля, начало земного, устой бытия, столь же вековечный, как и гроб; т. е. это, если угодно, вторая религия или, пожалуй, еще религия, но только не христианская. Религия Отчей Ипостаси, мирового родительства, сколько мы постигаем, сколько можем постигнуть очень бедным своим умом. Религия — сюда войти, ниспасть на землю; и религия — отсюда выйти, вознестись на небо. «Земля есть подножие Твое», поется в одном псалме; вот сюда, на это «подножие», мы все падаем, в сущности, из Отчей Ипостаси. По неизменному сказыванию всех людей — «мы рождаемся от Бога», или, как Филарет отвечал Пушкину:

Жизнь — от Бога нам дана.

Отсюда, из этих представлений, — и термин псалма: «земля есть подножие Божие, а небеса — Престол его». Но совершенно вне этой орбиты лежит смысл христианства, обнимающего только одну вторую половину или вторую трансцендентную истину нашего бытия — приближение к гробу, и через гроб — вознесение в небеса. «Мы воскреснем после смерти, и даже смерть есть способ воскресения от земли в небо» (какое-то мистическое, а не астрономическое, конечно) — вот и все христианство, от точки до точки.

В этом смысле «плакучая ива» нашего бытия не бесконечно печальна: но бесконечно печально, что мы на ней упорно, как Лютер, сосредоточены. Есть розы, есть Renaissance; есть Божии на земле розы, и Renaissance был божественным явлением, даже Божиим Откровением, но лишь не в орбите Второй, но Первой Ипостаси. Но как проникновенно оказывается учение о «лицах» Божества, коему нас научили Вселенские соборы и которого, судя по записанным Эккерманом «Разговорам», не понимал и решительно отрицал даже Гете. «Никогда три не будут одно». Между тем до такой степени очевидно, что, например, семья, брак, весь исторический Renaissance просто не умещаются «в том же Лице», в коем сосредоточены гроб, смерть. И между тем гроб и рождение — обои есть, и есть как вечный и святой факт.

Радость свящ. Петрова и вообще оптимистов тогда основательна и только не туда адресована; как и белый флаг нашего корабля истинен же, но только не при том и не туда направлении корабля. В Апокалипсисе обещаны всем, без исключения всем людям, зеленые пальмы и «убеленные одежды» и, наконец, обещано же «Древо Жизни». Вот истинный путь исторического корабля, и некоторое примирение наших скорбей и радостей...

Примечания

1 Ниже, в отделе «Купол (христианского) храма», я печатаю это письмо, выразившее очень удачно те мотивы, по которым было принято христианство и силу которых оно спело свою «победную песнь»...

2 Покойный Серг. Ал. Рачинский, известный деятель по церковно-народному образованию, — переведший в молодые годы Дарвина и Шлейдена.

3 Этот вместо того; один вместо другого; смещение понятий, путаница (лат.).